

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ.

БУБНОВЫЙ
ВАЛЕТ
И
КОМПАНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ≈ ПЕТРОГРАД ≈ ≈
ЛЕНИНГРАД ~ 1 9 2 4 • МОСКВА

Книгоиздательство „ПЕТРОГРАД“.

В ЛЕНИНГРАДЕ: Пр. Володарского (б. Литейный), 51. Тел. 5-61-46.

В МОСКВЕ: Петровка, 7. Книжный магазин „Маяк“. Тел. 1-48-92 и 44-74.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Анна АХМАТОВА. Собрание сочинений	—	р.	—	к.
Александр БЛОК. Двенадцать. Скифы	—	”	25	”
” ” Избранные стихотворения. Посмертное издание. подготовл. к печати автором	1	”	75	”
” ” Стихи 1897—1921 г.г.	—	”	—	”
Илья ЭРЕНБУРГ. Бубновый валет и К ^о	—	”	—	”
Евг. ЗАМЯТИН. На куличках. Повесть и рассказы	1	”	—	”
С. СЕМЕНОВ. Голый человек	1	”	—	”
Нин. НИКИТИН. Сейчас на Западе (Берлин—Рур—Лондон)	1	”	—	”
В. М. ДОРОШЕВИЧ. Легенды и сказки	1	”	—	”
М. СЕРОВА. Новгородские сказки	—	”	50	”
Г. УЭЛЛС. Краткая история человечества. Пер. В. А. Азова.	2	”	—	”
” Сокровище в лесу. Рассказы. Пер. В. А. Азова	1	”	25	”
” Страстная дружба. Роман. Пер. Э. К. Пименовой	1	”	—	”
” История мистера Полли. Роман. Пер. Э. К. Пименовой и А. Я. Острогорской	—	”	—	”
” Борьба миров Роман. Пер. Э. К. Пименовой.	—	”	—	”
Э. СИНКЛЕР. Христос в Уэстерн-Сити. Пер. А. Я. Острогорской	—	”	50	”
” Американские биржевики. Роман. Перев. Э. К. Пименовой. Издание 2-е	—	”	—	”
” Принц Гаген. Пер. А. В. Лучинской	—	”	50	”
” Четыреста (Нью-Йорк). Роман. Изд. 2-е	—	”	—	”
” Пер. В. А. Азова	1	”	25	”
” Книга жизни. Пер. В. Андреева	—	”	—	”
” Замужество Сильвии. Роман. Пер. Э. К. Пименовой. Издание 2-е	1	”	25	”
” Выбор Аллана Монтегю (Манасса). Роман.	—	”	—	”
” Что может дать религия? Пер. Д. Е. Фортунато	—	”	—	”
” Вопль о справедливости. Пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник	—	”	—	”
Дж. ЛОНДОН. Пытка. Роман. Пер. Э. К. Пименовой	1	”	75	”
” Лондонские трущобы. Пер. В. А. Азова	1	”	—	”
” Джон Ячменное Зерно. Пер. В. А. Азова	—	”	—	”
” Потерянный лик. Пер. Э. К. Пименовой	—	”	—	”
” Гавайские рассказы. Пер. А. Острогорской	—	”	—	”
” Джерри с Соломоновых островов. Роман. Пер. В. А. Азова	—	”	—	”
” Майкл, брат Джерри. Ром. Пер. М. Матвеевой	—	”	—	”
О. ГЕНРИ. Шуми-городок над Подземкой. Пер. В. А. Азова	1	р.	30	к.
” Рассказы о Западе и Юге. Пер. В. А. Азова	—	”	—	”
В. Дж. ЛОКК. Рыжий варвар. Роман. Пер. А. В. Лучинской	1	”	75	”
” Демагог и леди Файр. Роман.	—	”	70	”
Р. ТАГОР. Крушение. Роман. Пер. С. А. Адрианова. Изд. 2-е	1	р.	50	к.
” Гора. Роман. Пер. В. А. Войнова	2	”	—	”
” Моя живнь. Пер. А. А. Гизетти	—	”	—	”



ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

БУБНОВЫЙ
ВАЛЕТ и К⁰

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОГРАД»
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1925

== ТИПОГРАФИЯ ==
Ленинградского Губерн-
ского Отдела Труда
== Моховая, 8. ==

«ВЕСЕЛЫЙ ФИНИШ»

Двадцать шестого ноября жизнь решительно остановилась и началось сплошное наводнение. Еще накануне вечером «Осваг», подбоченившись, весело подмигивал громадными «каракулями». Не бойтесь. Красные отогнаны, но Федька Платонов, плакат вывесив, прищурившись, хорошо ли висит, схватил со стола пачку папирос и все карандаши, и айда к вокзалу—авось вынесет.

Утром же рассыльный Игнатич, прочитав Платоновское творчество, усмехнулся, тихо, правда, осторожность и приличие блюдя, но все же не утерпел и Грушко, державшей табачную лавку напротив «Освага», шепнул одно словечко недлинное—«ревком», от которого Грушко забилась, как квочка, обхватила горестно папиросный ящик, пихая николаевские между прочим за лиф и быстро прилаживая к окнам деревянные щиты.

С виду даже нормально было: двадцать шестое число, никто дней не переставил, в кафе «Шик» мальчик заметал большие залы, газета вышла, только все больше объявления и насчет советов сельским хозяевам, как капусту от червей предохранить, хоть и не к сезону. Да оно и понятно: не только редактор, но и выпускающий, воспользовавшись цензорской теплушкой, давно потряхивались, тихо, но верно ускользая, а червяков изыскал младший метранпаж, с горя, все колючее обходя; знал он тоже о ревкоме, уезжать не помышлял.

Прочитав тщательно газету, люди останавливались на улице, будто ожидая комментариев, но, с минуту простояв, сразу, уже без всякой задумчивости, неслись к вокзалу, где вскоре образовалось скопище невиданное, все приличные люди города—инспектор реального Бугров, отец Антоний, богослов, муж ума редкого, спекулянт Гиршфельд, в Америке был бы министром, журналист Момо, руку набивший на изысканиях в большевистской генеалогии, сыщиков парочка, маклера, владелец фабрики гильз Брюхин—козлы это, жохи почтенные, а за ними стадо тысячеголовое, курдючные дамы, интеллигентки до святительства отощавшие, офицеры с узелками вовсе не походными, ребята, чернь, словом, первым не чета.

Все, будто на гору крутую, лезли на один и тот же с верхом, наподобие лукошка, полный состав, скатывались назад, снова лезли, так весь день, потому что не трогались с места вагоны: паровоз взял себе начальник «Освага», в классном отбывший с запасных путей. Многие пешком пошли, залезая в снег, оглядываясь на город, где все же дома есть, люди, даже фонарь напротив театра, но вспомнив одно—«ревком»—ныряли в сугробы.

Тянулись тележки по городу, и чего только на них не было... Из штаба комод пузатый вывозили, а к чему, никто не знал, пустые ящики, клетки птичьи, вывески прихватывали. Всунув пачку кредиток чину с винтовкой или парням мордобоям («ледоколами»—звали их), счастливики влезали в вагоны, даже с клеткой порой. Но когда под вечер отошел наконец первый поезд, все видели, как на платформе мальченок, не доползший до матери, кричал, и в окошке цеплялась за воздух, тщась его подловить, простоволосая женщина. Но кто бы согласился хоть на минуту остановить поезд, когда там,

в сумеречном городе, не торопившемся зажечь свои ога- ро-ные огни, уже вылупливался на свет страшный «ревком». Так и уехали, смыла толпа детеныша, стали присту- пом брать второй состав.

Днем как-то все утешительней было, дома стояли, многие магазины, в нерешительности торговать или нет, приподняли веки; если не жизнь, то хоть видимость со- хранялась. Говорили о ревкоме, но не чувствовали его. Когда же стемнело, провалились дома, исчезли в окнах ботинки, часики, колбасы, напоминавшие о том, что не конец все это, но двадцать шестое ноября, когда кануло все в туман, снег повалил хлопчатый, крупный, мокрый, все, будто навалился уже он вплотную, одно увидели— ревком.

О красных, которые идут с севера (китайцы, что ли, потрошители), никто не думал, шли они, как вьюга— заметет всех, ничего не поделаешь, а может враки, даже с порядком идут, добренькие, помилуют. Дело далекое, думать не стоит. Но ревком, выросший здесь, в рабо- чем поселке, за речкой, был близким и страшным по случайности: каждый тyani лотерейный билет. Кто же в нем сидит? Неизвестные судьи, но уже безусловно все- знайки, многое отмечено у них в записных книжках. Меховщик-оптовик Тешин подозревал приказчика сво- его Алексея, коли так—крышка, зачем дураком был, при нем на белых доброхотным раскошелился, а жало- вания не набавил. «Еремеев, журналист, пачкун»,— ду- мал инспектор страхового общества Лазарев, удержан- ный родами жены,—«знает он, что выдал я казакам двух большевиков, раньше всех меня посетит»,—думал и, не слушая криков жены,—плакал в шубе на черной лестнице.

За речкой, у ворот гвоздильного завода, валялись никем не убранные четыре трупa: осетины, проскакав,

пошаливали малость, чтобы не слишком радовались красным. Молчали дома окрест, дома узкие, высокие, с жильцами угловыми, коечными, артельными,—без огней, притаились, только бы продержаться до завтра, в темь врости, а завтра, завтра—ревком. Что такое «ревком» этот, кто там будет, и здесь за речкой не знали, но темное слово повторяли с нежностью. Может, и не было никакого ревкома, только должен был он быть, родиться в сыром, кровью подмоченном снегу, у заводских ворот, чтобы откликнулись люди на злое ауканье сухих, быстрых, для памяти посланных выстрелов, чтобы приволокли завтра же сюда на это облюбованное место уж десятки других людей. Недобро, смертельно молчала заречная слободка, лишь отряды отступающих постреливали наспех.

Ночь близилась. Замолк и город, оставленный всеми, кто торговал, спорил, суетился, бегал в кафе «Шик» за валютой, устраивал лекции «о возрождении России», писал, читал, веселился, спорил, смехом, говором, повседневной белибердой оживлял эти скучные улицы. Вдали гудел, отчаянными всплесками напиравших на поезда толп, вокзал, и сквозь гул прорывались вскрики, уж просто невозможные, оставленных, придушенных, забытых.

Выколотыми глазами торчали окна «Освага» со сползшей на пол картой. Только два учреждения еще жили и бодрствовали—контр-разведка, помещавшаяся в гостинице «Венеция», и ночное кабарэ, излюбленное офицерами, артистами, спекулянтами, над дверью коего была нарисована художником маркиза с розой и значилось: «Художественный погребок Веселый Финиш».

Ротмистр Александр Степанович Рославлев, гордость контр-разведки, уставший от ночной работы, проспал далеко за полдень, и лишь в пять часов позвонил по телефону на службу.

Подошел корнет Мылов и сказал неутешительное. Эвакуацию закончили; хоть непосредственной опасности нет, в городе паника. Уйдем по всей вероятности завтра. Получены верные сведения, что в слободке образовался местный ревком. Необходимо до ухода ликвидировать. Выслушав все это, Рославлев спокойно потянулся и свой пробор, по точности и белизне известный всему полку, заботливо оправил от забредших в сторону волосиков, после чего пошел, как и каждый день, в кафэ «Шик». Там никого не было, и лакей в ужасе посмотрел на блиставшие погоны Рославлева, хоть и знал его за лучшего посетителя. «Музыки сегодня отчего нет?» Лакей совсем потерялся и, заикаясь, выволок из себя: «Никак нет, ваше благородие. Ревком». Добродушно усмехнулся ротмистр: «Чепуху городишь. Москву скоро возьмем», и приказал подать чашку шоколада. Но на душе его было невесело—значит, снова отступать, снова цокот погребальный, под злые взгляды остающихся, еще пули в догонку, новая остановка на неделю, на месяц, а там конец, хорошо бы в бою, хоть без муки, без надругательств. Ни в какую Москву Рославлев не верил, а пошел от невыносимой, из нутра выпиравшей ненависти к ненасытным пигмеям, к уродцам без традиций, без шелеста знамен, без звяканья шпор. Но никогда он так не болел неудачей, как нынче: не только город русский покидал он, но еще и домик один на Спасской, а там, в антресоли с крашеным полом, с вязаными салфеточками на лапчатых креслах, Наталию Николаевну Боброву, нет, если признаться, Талю—просто, единственную, короткую, жалостливую радость за шесть лет боев, крови приторной, от крови этой такой скуки, что никому не расскажешь, только вот сейчас вместо эвакуации ляжешь здесь на полу под столиком и зевнешь—лакей очумеет. Посидев, совсем расстроился Рославлев,

хотел к Тале пойти, но решил, что скрыть правды не сможет, только замучит ее. Лучше завтра прямо перед уходом, пока подтянуться надо,—в разведку пора.

Проходя по Николаевской, Рославлев увидел за щитом цветочного магазина прилипшую к стеклу хозяйку и настойчиво постучал. Открыли, но свежих цветов не было, только полузавядшие хризантемы с тронутыми ржавью лепесточками. Строго приказал ротмистр немедля снести цветы на Спасскую. «Никого нет, все с перепугу разбежались», причитала хозяйка, но увидев револьвер, юркнула куда-то, и мальчик тотчас появился, взял большущий букет, понес. Редкие прохожие, в перегонку улочку перебежавшие, с ужасом взирали на белые звездочные цветы, глядел на них и Рославлев—будто венки на гроб, поминание не бывшей любви, сразу затравленной, отнятой. Сколько радости могло быть в этих белых комнатах на Спасской: поцелуи тихонько за тетушкиной спиной, записочки, после поезд быстро, быстро несется, парк в Гурзуфе и не понять, где волн вздохи, где Талины... Господи, и вместо всего,—вялый букет, «прощайте», да бегство, каждый цок копыта так и кричит «навек»...

В тоске шел Рославлев, а когда, наконец, подняв глаза, осмотрелся, где он,—увидел маленького мальченка, ушастого еврейчика, продававшего папиросы. Подступила злоба; вот от них, от грязных, юрких, курчавых,—уши выпирают, нос птичий, картавят мерзко: «папигосы»,—от них все пошло, от них нет ни России, ни радости, ни Тали. И, раскачнувшись, он швырнул мальчонка кулаком в снег, прошибив нос и перепачкав кровью перчатку. «Видали? Начинается», шепнул неизвестно кому стоявший на углу студентик и быстро засеменял. Мальчик визжал, весь подпрыгивая и корчась.

Брезгливо кинув перчатку: «Гады. Искарיותы», Рославлев уж спокойно, уверенно пошел в разведку.

В загаженных номерах «Венеции» было пусто, неуютно, раззор полный. Совсем дача в августе,—подумал Рославлев. Валялись окурки, газеты, папки «дел», синие листочки какие-то нехорошие, сломанная пишущая машинка. Ротмистр заглянул в номер двадцать третий, где помещался раньше кабинет начальника. У стены, на табуретке увидел мастерового, будто прикурнувшего мирно, но с раздробленной головой, обои голубые и портрет генеральский были густо забрызганы кровью. «Это мелюзга»,—пояснил корнет Мылов,—«с гвоздильного, листки нашли. Главное ревком».—«Пакость»,—пробурчал ротмистр,—«запакостили весь мир», и прошел в соседний номер, где поручик Головчан допрашивал служащего кооператива Курицына:

— Отвечай, сукин сын, ходил вчера на заседание?

— Никак нет, господин поручик, из бани прямо домой пошел.

— Вы бы его шомполами,—раздражительно крикнул Рославлев, и отвел в сторону Мылова взять справки о розыске ревкома. «Надежды мало»,—признался корнет,—«связи упущены. Вы когда снимаетесь?»—«Завтра утром».—«А я сегодня со штабом. Если что-либо до двенадцати подвернется, сообщу вам».—«Ладно, только не домой, спать не буду. В «Финиш» позвоните». И, не дожидаясь, пока рябой Курицын пущен будет в расход, Рославлев вышел, из одного очага жизни по кладбищенскому городу направляясь в другой, а именно в кабаре «Веселый Финиш»

Держатель кафе, грек Ливидопуло, хотел было учреждение свое прикрыть, ревкома боялся, да и деньги деникинские его мало прельщали. Но перед просьбами шутника есаула, подкрепленными увесистым поганом,

не устоял и пошло веселье. Виды не малые видывал «Веселый Финиш», и как гвардеец куплетиста Королькова за подозрительный акцент ухлопал, и как корниловцы с кубанцами, обсуждая раду, в перестрелку ударились, и как разведчик Штальгарт адвоката Сергеенко, дух большевистский учуяв, на месте ликвидировал,—недаром зеркала все перебиты, потолок изрешетчен,—но подобного вечера не было, не вечер, а городское заречное, вокзальное, то-есть предревкомское навождение.

Пришли отчаянные, полоумные, на все рукой махнувшие, перед чекой, перед советской каторгой с трудовыми повинностями, перед смертью в последний разок кутнуть, да так, чтобы жарко небу стало, с пальбой, с бутылками, пролетающими в морды музыкантов, выкинутыми на ветер, греку, чорту самому, ненужными больше бумажками.

За крайним столиком сидели артистка опереточная Зельми с кавалером. Пили они из больших чайных чашек—рюмочки все есаул, проклиная тыловигов предателей, перебил—бенедиктин, причем Зельми время от времени восклицала истерично: «Пропало колье в ломбарде, по вашей любви пропало—вот что». Кавалер же с лицом глупым, но трагически улыбаясь благостно, отвечал: «А меня завтра расстреляют». Позади шумели офицеры, валютчик Тигель, инженеру городского театра Версева с ухаживателями и другие, которых Рославлев в лицо не знал.

Ротмистр сел в углу за ширмами, спросил портвейну и начал глядеть в зеркало на прыгающие фигуры: танцевали, били скрипача, целовались. Тигель ползал на четвереньках у ног Версевой. Чем больше пил Рославлев, тем быстрее прыгали фигурки, лиц уж не было видно, только ноги, да где-то наверху проскакивали

чуб, перо шляпки, заломленная лихо папаха. Музыканты тянули нечто невыразимо грустное, трогательное «прощай навеки, прощай, прощай». Опорожнив вторую бутылку, Рославлев совсем затомился, тяжелый хмель ног не подымал, голову клонил, все внутри сгущал, ложась окисью. Мастеровой лез в голову—«вот так и я, тоже в номерах, чекист поиграет собачкой, окачурюсь, тьфу, и самое главное, что пакость все это, обои загаженные, вонь, чепуха, ничто».

За третьей бутылкой подошел к Рославлеву ординарец и подал записку от корнета Мылова: «Пишу с вокзала. Только что удалось добиться от Курицына, что председателя ревкома зовут Афанасием, фамилии не знает, имя тоже верно вымышленное, роста среднего, на голове пробор, косит слегка, под нижней губой большая бородавка. Есть предположение, что он сегодня вечером будет в «Финише». Жалею, что не могу остаться. Желаю успеха». Рославлев записку прочел—«косит, бородавка, совпадение какое»,—прошло у него быстро в голове, но мысли не dokonчил,—двигались они быстро, юркие, не ухватишь, и жадно стал пить стаканами залпом, глазом одним подзывая лакея, «еще». А музыканты играли уж что-то веселое, дразнили, злился ротмистр. «Им-то что, раздавить проклятых». Пел кто-то «Всех купчих краса и жар, голубой сумской гусар»,—«опять измываются,—какие купчихи, где они? ревком, бородавка, пакость».

И вдруг, взглянув перед собой в зеркало, увидел этого самого Афанасия. Негодяй откровенно косил и даже бородавку не потрудился спрятать.

Стойко, крепким шагом прошел ротмистр к соседнему столику, за которым пели о купчихе, и сказал: «Господа офицеры, здесь находится в настоящий момент председатель ревкома. У меня приметы, по которым

я его легко опознаю. Будьте любезны никого не выпускать». Весело кинулись офицеры к дверям, револьверами помахая, не докончив «танго», расползлись музыканты, все учуяли недоброе, заметались. «Идут».—«Кто?»—«Ревком».—«Врешь, это разведка».—«Разведка ревком ищет» Рославлев стал обходить столики, медленно старательно взглядываясь в лицо каждого и выпятив черное дуло. «Это ты», кричала Зельми кавалеру: «он, он, я не виновата». «Он», улыбнувшись, так и не мог скинуть улыбки, радостный и сидел. Тигель пытался влезть на люстру. Кричали, молились, а Рославлев все подвигался неминуемый, прямо, среди многих выскивая одного. Когда же он обошел все углы и Афанасия не оказалось, новый страх овладел всеми—здесь ревком, скрывается, сейчас встанет, словит, живьем не выпустит...

Усталый пошел Рославлев к выходу, но из двери зеркальной снова злобно, холодно, безразлично глянуло на него лицо с бородавкой. «Теперь не уйдешь». И ротмистр в упор выстрелил, полетели зеркальные осколки, вниз скатившись, вопила в истерике Зельми. Поручик Крылов, выпивший за весь вечер всего-на-всего бутылку коньяку, понял, что дело неладно, и ласково сказал: «Вы утомились, разрешите мне осмотреть публику». Молча протянул ротмистр ему записку Мылова, молча тот прочел ее и, прочитав, быстро взглянул на Рославлева—пробор, косит, бородавка,—переоделся, чекист проклятый... Раздался еще выстрел уже не в зеркало, вниз покотился ротмистр Рославлев, ногой зацепив столик с бутылками и разок отчаянно на полу подпрыгнув.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

Собственно говоря, во всем виновата гадалка Квачка. С утра ничего, как все, регистраторша в «Москвотопе», исходящие записывает мелкой вязью, и ссорится с товарищем Гузиным, который пайки выдает—кому к октябрьским праздникам по фунту мяса, а Квачке колбасы—без сомнения собачина. «Вот все доложу Исполкому: и как Гузин карамель, три штуки, в брючный карман усунул, и как билет в Камерный дал курьерше Марусе вне очереди, только за некоторые стоянки в коридорчике, все, все открою». Словом, до четырех Квачка честная гражданка, и ничего такого не чувствуется. К вечеру же в ее комнате начинается непотребное, а именно: Квачка за продукты открывает судьбу, причем сама воет, скулит, пляшет от избытка, с притоптыванием, несмотря на формальное запрещение домкома. Даже комиссар приходил, важный, сахарную голову принес, а Квачка ему пакостей насаждала: «Опился керосином, все нутро сгорит, а на ощупь станешь тоненький, слизкий, как «американский житель», понапыжешься чутку, декрет выводя, пикнешь и вовсе издохнешь».

Не понравилось, пригрозил даже суеверия извести. Но Квачка не боится, где только у нее нет друзей бескорыстных. (Гадает с 5 до 8, а после от гадания всячески утешает).

Раньше гадала на гуще. Но всем известно—советский кофей не что иное, как горелая морковь, гуща

крупная, неповоротливая, и не то чтоб откровений, даже намеков от нее никаких не дождешься. Зато колода карт, старенькая с неупраздненными королями, все скажет—и когда в «желескоме» паек за февраль месяц выдадут, и как Лидочке фрукта Пилина к попу приманить (хитрый, «религия—опиум» бубнит, а сам, времени не теряя, безо всяких норм «цапает»), и даже откуда спаситель придет, не вообще, а в частности, то-есть государь по закону, который ныне в лесу за Обью зябнет и ежевикой прокормляется.

Вот к этой самой Квачке пришла на беду, в прошлый четверг, губастая Дуняша, по записям официальным «инвалид труда», но как и прежде месящая тесто в кухне Брынзова, по дороге вынося горшки Брынзовских деток и разглаживая юбку самой. Работы прибавилось, раньше были еще и кухарка Фекла, и горничная Матильда, а теперь Дуняша «за все». Дело простое—раньше Брынзов хапал на поставках, в бирже, и честно, неторопливо присовокуплял акции рудников и сахарные (ох, до чего сладенькие). Хапает и теперь, но быстро, с опаской в «главке», да «николаевские» скупает у запасливых барынек, коим уж не до запасов, хлеба купить не на что. Как видно, Брынзову не так уж плохо, ибо Дуняша не только хлеба в печку ставит, но и булочки (масла-то сколько на сдобу), кулебяки, древние, с прослойками, пыжики финтифлюшистые. Да и самой Дуняше грех на что пожаловаться, если бы не думы всяческие, длинные, непосильные, уж когда все пироги готовы и все юбочки разглажены. Зачем заставили только эту бедную голову, с реденькими, жидкими волосиками, на которые без изводу, скромненько, идет пол-ложечки господского льняного маслица, столько думать, будто она многодумная начетчица, а не Дуняша вовсе.

Первая дума о сыне—Васе, Васеньке, Васильке. Ох, темная каморочка под лестницей у господ Селиверстовых на Якиманке, Гришка лакей с позуменгами, да что с позуменгами, с зубами точеными. Устоять ли было девченке? И мармелад тут, и клятвы клятвенные, и портрет с нее сделать обещался. Как ни страшно было, а Дуняша к бабке Шаболовской, что с гвоздем промышляет, не пошла, и сыночка в воспитательный не сбыла, а пристроила в Челицы, что под Серпуховым, и платила за него по два целковых в месяц. Девять лет Васе исполнилось, когда свела Дуняша к парикмахеру Фердинанду, то-есть к Трюхину—земляку. Не брить, конечно, а волосы заметать, и в субботу при стечении большом собственноручно мылить щеки, пока освободится мастер надлежащее соскрести.

Но кто попутал, но только чудные вещи заерзали в белобрысой голове. Недолго он мылил, а месяца три спустя к весне сбежал, ни Трюхину, ни матери слова не сказавши. Выла Дуняша, да так голосисто, что пришлось четыре места переменить. Ходила и на гулянья к Девичьему, и на богомолье к преподобному—не повстречала нигде. Притихла, но не смирилась. Где его найти? Встретит—и то не узнает. Вот отметка есть, так и та скрытая. Под левым соском у Васи большое родимое пятно, красное, точно бубен с карты. Дуняша просила даже Трифона, младшего дворника—«в бане ежели увидишь на груди бубен—тащи его—не иначе мой будет». Но охота ли Трифону ходить глядеть, не его кровь, ведь. Жив ли Вася? Может, как ставит свечу за здравие, только душу его томит на небесах. Батюшка, отец Афанасий наставлял: не смущаться, молиться о здравии, и о победе христоробивого, ибо по годам должен быть Василий воином. А теперь-то, не словил ли дьявол дитя несмыслящее, вот ведь сын лавочника Перлова,

бессеребренника, трудничка божьего, стал,—господи ограда и помилуй,—большевиком большущим, так когтями окаянными и загребает души.

Вот и вторая дума Дуняши, первой не легче, о нестроении страшном, о всех мытарствах церкви православной. Под самую душу подкопались баламуты.

Ходила Дуняша на Зацепу, против рынка видала портрет самого главного губителя, в очках на нитке, смотрит в бок, ухмыляется через бородку—скольких загубил, Ирод этакий! Слыханное ли это дело, чтобы карточки и те с печатью антихристовой, так и прожигают руки нечестивые письма. А тут еще носи в лавку на груди, к сердцу поближе, чтобы не выкрали, сокровище какое. Отец Афанасий и не то говорил — нечестивцы мощей святителя Фрола коснуться осмелились, но не допустил господь — послал на глаза затмение. Которые монахи и достойные молельщики узрели телеса нетленные и из чрева проросший златоносный знак. А саранча рыжая только и увидала, что чучело с паклей.

Все знает Дуняша, и как Никола на Спасских паскудную пелену прорвал, и как святая голубица с Чудова влетела в нечистое становище и крылышками повергла каменное идолище усатое, громадное, коему, отрекшись, поклоняться должны все переписанные. И ее, Дуняшу, переписать хотели, так она в чуланчике с углем на черной лестнице упряталась, всю ночь пролежала, чихнуть не осмелилась, лишь внутри повторяла «Отче наш».

А с четверга пришло новое горе. Гостиную Брынзовых нехристь большевик, гуляя по лестнице, мимоходом реквизнул, и немедля переехал, притащив полпуда бумаг, да рожи поганые всего сатанинского воинства. У Дуняши сладеньким голосочком молоточек попросил, рожи тотчас по стенкам развесил, а икону не

выдержал—убрать приказал, от ликов Козьмы и Демьяна дух захватывало у семени бесова. И какая жена низкоутробная могла породить такого блондинистого гада? А то еще: уставится на Дуняшу желтыми глазами, так, что у нее ноги подкашиваются, и шопотком завлекает на погибель: «Товарищ, кипяточку.....» Знает Дуняша, что послан к ней гонец адов, искуситель последний, к великим мукам готовится.

Вот соблазнилась, пошла к Квачке судьбу попытать, свой паек—четвертку песку—принесла. Квачка сразу поняла главное, а именно коту желтоглазому, точь-в-точь—блондинчик, крикнула: «Брысь, бесстыжий, изыди из обители, ишь, наблудил, пузан, кружку молока вылакал, тыщу, можно сказать, слизнул, да не расчихался». Потом, плюнув на кончики пальцев, колоду разметнула веером, и не вглядываясь в карты, одну выхватила, затоптала, топ, топ, на месте заходила, голосом из живота, в ухо Дуняше дунула: «Судьба твоя—бубновый валет, к последнему искусу готовься».

Кто не знает, что бубновый валет карта мирная, хорошая, веселые хлопоты означает. Но Квачка на то умна и хитра, о карты мозоли не зря натерла, не на карту смотрит, а внутрь куда-то, ничего от нее не скроется. Объяснить же Дуняше не захотела, ругнула только на прощание: «песок желтый, подмокший».

Дуняша всю дорогу думала—как понять трудную карту. Бубны масть ясная, божья масть, не пики же какие-нибудь, у Васи на сердце бубен, да хранит его заступница. А валет весь на жильца недоброго смахивает, усики—крысьи хвостики. От кого же судьбы ждать от голубка своего весточки, или, от этого, коготь черный, карточку припечатанную.

А проходя мимо Волхонки, увидела Дуняша новую пакость. Со стены глядел голый мужичище густо кубо-

вый, в красных пятнах, будто в аду его раки клещами щипали, а из пупа у него рос третий глаз большущий и рыжий. Грешник это верно, старший печатник. Вкруг картины народ толпился. Подошла Дуняша: «Что, мол, здесь произошло». А старичек очкастый, знает его Дуняша, был он прежде сидельцем в Охотном, степенно прочел: «Выставка Бубновый Валет». И пояснил в снисхождении: «это и есть ихний водитель». Услыхала Дуняша, не упала наземь, не вскрикнула даже, помолилась в душе, чтобы скорее судьба пришла, не томила бы так. Ибо знала ныне, что неминуемое грядет.

И точно, на следующее утро все началось. Блондин позвал, так, будто невзначай, карточки свои из домкома попросил взять, а ему мол некогда, на комиссии спешит. «Вы уж, товарищ, за меня распишитесь в конторе».

Смекнула Дуняша—подступает. «Я, господин, то-есть товарищ, этому не обучена вовсе».—«Как?»—«Да, так просто. В чистоте соблюла душу».—«Вам, товарищ, тогда в Ликбес пойти придется».—«И гвоздики ваши под ногти забейте, воля ваша, а к бесу на поклон не пойдут». Засмеялся блондин, веселый уж больно, объяснил, не к бесу итти нужно, а в школу, такое постановление Ликбес, то-есть «Комиссии по ликвидации безграмотности». Ученье свет, вот что. Сам он тоже неученым был, из дому сбежал, книжки читать начал, до всего теперь своим собственным допер. Вот и адресок школы, недалеко, на коровьем валу, в бывшей чайной Янтарева (помер Пров Тихонович, не дожил до поругания этакого). Дал записочку, пригрозил—«сами не пойдете, милицейский с ружьем поведет». Кинулась Дуняша к Брынзовой: «Барыня, голубушка, спасите от большевика меня. Так-то и так-то». Брынзова сама струсила: «Ты теперь меня барыней не зови, «товарищем»

что ли, неровен час, живо скрутят. А помочь тебе не могу я. У меня, глупая, в сейфе брошка пропала, восемнадцать каратов, вот как. Да что тебе, не в чеку ведут—в школу, делать нечего—иди, учиться не учишь, а сиди тихохонько в углу и всячески потворствуй».

Что ж, пошла Дуняша, от положенного не укроешься. Глядит: сидят бабки, старенькие, мшистые, у одной зуб на вершок пророс вбок, у другой из уха рощица кудрявится, старички тихенькие, залежалые, а наверху, как в балагане, мерзкое изображение выведено, а под ним девчонка юркая, стрижка и в военной куртке, бесстыдница. Идет же вовсе нехорошее. Девчонка ручкой машет, как жезлом, а богаделки и старцы смирененькие за ней гнусавет: «бы... а... ба...» Почести идолу воздают.

Сидит Дуняша и трясется—в своей плоти в преисподние вошла. А девчонка к ней: «Вы, товарищ, новенькая? Повторите—бы... а...» Вскочила Дуняша, истошно завопила: «Не подведете меня к присяге. Смерть приму, а сквернословить не стану». Любила Дуняша чистоту до-нельзя—наследить в комнате за страшный грех почитала. На что кротка со скотами была, а и то кота Мурзу утопить хотела, когда он в кабинете, на персидском ковре, лужу напрудил. Но здесь не стерпела—прямо в середину плюнула: «Отрекаюсь от царствия вашего. Знаю теперь, кто водит вами—у нас на Успенском поселился. Так-что терзайте меня, а в Бубного Валета этого, в усища его тухлые три раза плюю». Прокричав—выбежала. Домой не пошла. Дома блондин небось все знает, схватит печать свою, припечатает на волосы и погибла душа без покаяния. Нет у нее орудия, кроме креста нательного, слова такого не знает. Вспомнила о приятеле давнем, советчике премудром, об Иване Кузьмиче. Хоть далеко до Дорогомилова, мигом добежала.

Иван Кузьмич прежде золотошвеем был, эполеты делал, на звездочки умилялся—«премудрость небес, маяк волхвов, уменьем своим на плечи достойные низвожу». После же как пошли бунтовать, когда скатились золотые звездочки с погон последнего генерала—всплакнул, но не возроптал, обратился к светилам нетленным и занялся апокалипсисом. Никто лучше его толковать не умел и кладезь распечатанный, и жену, облаченную в солнце, и всех коней по череду. Утречком скупал он у рабочих завода Гивартовского краденые дрожжи и продавал их на Смоленском. Вечерами же толковал и советовал. Рассказу Дуняши Иван Кузьмич сильно обрадовался: «В среду за прошлую видел я уже предзнаменование, хоть и не русого, а черного, как уголь, но твоего душегуба. Знаю многое и тебе открою. Ты, Евдокия,—Юдифь, словом божьим сокрушишь Олоферна, кой в мерзости и блюде пресмыкается. Державу спасешь российскую, святую церковь оградишь. Готовься, Евдокия, к свету подвижническому, зрю венчик вокруг влас твоих».

Встала Дуняша, поклонилась в пояс: «Недостойна я сего, Иван Кузьмич, под успение молочка откушала, грехи давляют многие».

Но нет, Иван Кузьмич, знает, не зря такие слова говорит—на Дуняшу пала честь сладчайшая поразить врага рода человеческого, пострадать за многогрешный мир.

Жилец блондин, он же валет бубновый, не кто иной, как чорт. Но не с голыми руками пойдет на него Дуняша. Есть у Ивана Кузьмича орудия многие—крестики, ладанки, пришептывания, моления запретные. Вовсе уж не так силен чорт, есть и у него слабости всякие, надо лишь знать. Легче всего одолеть чорта, когда он еще махонький. Рожки у него тогда прорезываются и хворь

находит—прыщи и размягчение телес. Потом, ежели чорта, хоть и большого, на ночь на целителя Пантелеймона хлестнуть по темени освященной вербой, он сразу смирится и захнычет. Тогда, времени не теряя, надо посадить его в огуречный рассол до полного издыхания. Но против валета усатого дает Иван Кузьмич средство скорое и верное: баночку, а в ней святая водица, со святой горы, монахи привезли. Надо Дуняше ночью, крадучись, подступить к дрыхнувшему, оголить и водицей окропить, пришептывая: «Во реке Иордане мира омовение, сатаниилу с приспешниками гибель гиблая Аминь».—Чорт задрожит, хвостик отвалится, из утробы вой выйдет песий, а вскоре весь съежится ежиком и завянет.

Домой пришла Дуняша строгая, ясная, со склянкой заветной. Как ни верила Ивану Кузьмичу, но в одном сомнения одолевали—не достойна она, грехами захватана, белизны не хватит покрыть собой зло злейшее. Грешница, маловерка, погибнет, дела не сделав. Чистую рубаху надела—в достоинстве преставиться. У барыни Брынзовой прощения просила, как в прощенную, ручку смиренно целуя. Жарко молилась заступнице скорой.

Блондин долго домой не возвращался. Сидел он, о своих обличителях не ведая, на заседании какой-то комиссии, будто Профобра. Сидел и считал, сколько к девятьсот тридцатому году откроют они школ в Пермской губернии, какие все будут сознательные, и деловые, будто не люди из костей трухлявых, да мяса дрянного, что пожить не успело—уж испортилось, а машины американские, все высчитано, где маховик, где свадьба, не икнешь в промежутке. Сидел и считал—школ 318, учеников 16.000, школ 94, учеников 8.000, 4 добавочных. Досчитав же до конца, прихватив башкиров

и мордву, выпил стакан чаю, настоянного на каких-то листьях, что в Сокольниках собирал сторож профобрский, вместо сахара пососал ложечку, отдававшую жестью и селедочным духом, а засим поплелся домой с тяжелым портфелем: проекты, схемы, доклады весили никак не меньше полпуда.

К щелке дверной прилипши, не дышала Дуняша, ждала, пока гад задремать соизволит. А он еще на сон газетку вздумал. Прочитав, громко хныкнул: «Что-ж, в Аргентине снова забастовка. Мировой пожар начинается», улыбнулся, заботливо стянул платанные штаны, на стульчик положил и нырнул под одеяло. Скоро услышала Дуняша легкое подсапывание, будто младенец в люльке. И чем только они не прикидываются.....

Перекрестилась, дверь тихонько без скрипа открыла, одеяльце отдернула и пошла кропить, да пришептывать. Вскочил блондин, завопил ужасно, точь-в-точь, как предвидел сие Иван Кузьмич. Глаз открыть не может, только руками машет, да орет. С верой в победу близкую, подступила прямо к нему Дуняша. Но ждало ее последнее испытание, меч невысказанный повис над бедным сердцем. Распахнулась рубашка на груди чортовой, и узрела Дуняша бубен родимый, ею выношенный, крови помета, ее кровной крови. Васька! Сын! Валет! Антихрист! И с нечеловеческим криком выбежала она прочь, по лестнице с обмерзшими ступеньками, по пустому двору, по улицам,—бог весть куда, от проклятия своего, в лес, в снег, в пекло адское.

О, какой огонь пожирал ее чрево! И тот, с позумен-тами, с портретами, с мармеладками сахарными был тоже чортом. Чортово семя приняла, своей христианской кровью выходила, людям на смех. Нет ей милости нет пощады. Жалостливая заступница и та отвела очи заплаканные, за тучи укрыла израненные рученьки, не

может протянуть их чортовой полюбовнице, кормилице сатанинской.

Далеко за заставой под татарским кладбищем упала она на сугроб и стала глотать снег, чтобы потушить страшное пламя. Но снег жег рот, и огненные языки, пылающие черви извивались в ее нутре, подступали к горлу, душили старческие, дрябленькие груди. Глубже, глубже зарывалась она в снег, только ноги, в стоптанных, рыжих башмаках еще торчали, два пнища сгнивших, гнилушки проклятые.

Б Е Г У Н

„Кобленц“—говорят, а что такое Кобленц этот прославленный? Городишка скверный, не лучше нашего губернского, улочки кривые, старая церковь, фонтан—тоже нашли достопримечательность. Где здесь разойтись было маркизам де Виль-Нэф, виконтам де-Бурьи, версальским шаркунам, мадригальщикам, средь озорства клубного, санкюлотства неслыханного (то-есть, если прямо по-русски выразиться — беспорточничества), сохранившим парчевые жилеты в лилиях, с единорогами, о шестнадцати пуговицах, косицы непримиримые, гордость свою, краешком камзолов не коснувшимся маркитантки—Марианны, с ассигнациями сальными, вместо эю „милостью божией Людовика“, с носом единственным, прямо багрянородным носом. Дыра—Кобленц, мелочь на карте, внимания не стоит.....

То ли дело Россия. Как началась буря, полетели не сотни, сотни сотен многие, тысяч сотни, не городишко обжили, запрудили пять частей света. Что же, большому кораблю и плавание—большое. Ведь не маркизы одни, то-есть действительные, тайные, нет таборы разноязычные, вовсе уж меж собой несхожие, двинулись бог весть, куда—в Париж ли кутнуть на поминках, в Турцию ли сгоряча минареты поглядывать, в Аргентину ли, свиней в Аргентине разводить можно, кто знает. Все равно, от своих подальше. Как понеслись с гнезд вспугнутые, так и не могут остановиться—из Питера в Мос-

кву, из Москвы в Киев, дальше в Одессу, на Кубань, в Крым и уж вплавь, через все моря. Даже позабыли люди, что можно у себя в столовой на дедовском кресле вечером сидеть, и, вынув газету из всяческой папки бархатной, на коей дочь к ангелу вышила бисером: „да скроется тьма“, и читать супруге сонной, теплой, о том, как зачем-то сумасшедшие люди лезят на полюс или канал Панамский роят.

Кто только не убежал—и сановные, маститые,—Станиславы,—Анны на шеях,—мелюзга, пискари в море буйном: фельдшера от мобилизации, стряпчие от реквизиций, дьячки, чтоб в соблазн не попасть, просто людишки безобидные от нечеловеческого страха; сахарозаводчики, тузы махровые, для коих в Парижах и кулебяки, и икорка, и прохладительные готовятся, и голодранцы, голотяпы, грузы грузят, на голове ходят, тараканьи бега с тотализатором надумали—сами себе санкюлоты; политики, идейные всякие, с программами, хорошие люди — столько честности, руку пожмет такой, и то возгордишься, ну и построчники за ними, коты газетные, хапуны щекотливые, всякие; а больше всего просто человеки: был дом, профессия, ботики с буквами, а подошло грозное, и ничего в помине, не эмигрантами стали, не беженцами, а бегунами. Послушаешь такого, ну, что он спасал—ни сейфа нет, ни титула, ни идеи завалающейся—не поймешь.

Вот таким бегуном был и Григорий Васильевич Скворцов, родом из Пензы, холостой, слава богу (не детишек же с собой по миру таскать). В невозвратное время, когда в бегах состояли немногие только, по вкусу, или честные чересчур, или уж вовсе без чести, сидел себе Скворцов скромно в Москве, на Плющихе, и ни о каких заграничах не помышлял, даже узнав как то, что его товарищ Бухин по удешевленному в Берлин

с экскурсией проехал, сердито откашлялся: „обо всем этом у Водовозова прочесть можно, а вот без фундамента соответствующего от разных пейзажей и пропасть не мудрено“. Должность занимал он не высокую, но почтенную, уважения всяческого достойную, а именно с 96-го, то есть двадцать один год подряд, состоял надзирателем в первой гимназии, сначала именуясь „педелем“, а потом, в свете преобразующем реформ, „помощником классного наставника“. Ведал Григорий Васильевич нижним коридором, пятиклассников не касаясь, следил, чтоб „кое-где“ не курили, и зря во время уроков латыни не засиживались, будто холерой заболел, чтоб на переменках не дрались пряжками, не жали масло, с ранцами ходили, а не по моде фатовской тетрадку за пазухой, гербов не выламывали, след замечая, чтобы средств для рощения усов второгодникамчадалы не покупали тихонько, словом, чтобы порядок, достойный гимназии классической, первой, в чьих стенах столетних, не кто-нибудь, а министр покойный Боголепов воспитывался и на золотую доску занесен.

Был Скворцов человеком мягким, душевным, и хоть в беседы какие-либо, кроме распеканций, с детьми не вступал, но и не придирался, оставив на два часа, сожалел, а уничтожению карцера, даже коллег удивив, порадовался. Объясняется это тем, что тайно (ну, да теперь и раскрыть можно) был Скворцов ужасным либералом, а министра Боголепова, столь перед учениками прославляемого, в душе не одобрял, предпочитая кротость и прогресс, вот как у Водовозова в Англии. Не правый, а гуманист истинный: „Русские Ведомости“, в библиотеку записан, книжки, мечты. И над всем, после ужина — самоварчик чуть мурлычет, кот Барс поддакивает, уют, мир—все же скорбь за страну, где-то вне лежащую, возле Пензы, что ли,—за нищую страну, не-

приветную, скорбь и даже возглас шопотливый „увижу ль я народ освобожденный“.

Хорошо жилось человеку: комната с печью широкой беленая, хозяйка квартирная души не чаяла, прямо, как с дитятей няньчилась—и плюшки изюмчатые к чаю, новая картинка Шишкина академика (лес, снег, медвежата, бодрость-то какая), и набрюшник вязаный, чтобы не простудился Григорий Васильевич, за ребятами в перемену во двор выбегая. Но не отступился Скворцов от традиции святых, от грезы интеллигентской, домощенной (уж ее ни в каком Париже не выищешь), преобразований хотел, а иногда, когда запрещали „Русским Ведомостям“ розничную (и рад был бы подписаться, да доноса боялся, покупала же номерок хозяйка в секрете) даже до революции доходил, так в уме Мирабо и бегали, самому боязно становилось.

Вот и в пятом году чуть-чуть не свихнулся человек, кажется, если б во-время не прикатили из Питера семеновцы с пулеметами, до республики бы докатился—на митинги в университет, переодевшись, бегал, жертвовал курсистке подозрительной (для успокоения, на что не допытываясь), словом—колебался в самых основах. Устоял все же, опять к преобразованиям склонился, в учительской за правый список высказавшись, тихонько всунул в урну честный кадетский и пошло все по хорошему, как у всех людей, так что до большевиков и упомянуть не о чем.

Когда все немцев ругали, и он ругал, даже за не-успехи по немецкому учеников похвалить хотел, но не зная, в согласии ли чувствует с кругом, не решился. Когда в марте пели и плакали, не тише других на Плющихе подпевал и хозяйку христосованием идейным умучил. Дал влево сильный крен, уж очень понравилась ему слова „земля и воля“, хоть земли не

представлял себе иной, кроме Воробьевых гор, а волю поминал лишь, когда Шибанов Иван из третьего параллельного курил без стеснения в уборной — „дашь им волю, на голову сядут.....“

Но любит русский человек дальше, чего пальцем не зацепишь, и полюбил Григорий Васильевич больше самовара, больше книжек Водовозова, больше всего на свете — „Землю и Волю“.

Все это оказалось впрочем милой присказкой, когда дело дошло до сказки, то вмиг разлюбил Скворцов всякие возгласы, никаких слов не произносил, и с хозяйкой вкупе, на сундучке в коридоре, плакал до полного удовлетворения.

Существовала ли гимназия, нет ли, никто на этот вопрос ответить не мог. Стоял, разумеется, супротив храма Христа Спасителя, дом почтенный с колонками, и приходили туда люди, то-есть учителя удрученные, не ступая по коридорам важно с журналами, но будто телега на трех колесах подпрыгивая, останавливаясь, всяческих пакостей ожидая, ну и обормоты, банды без гербов, с советами, обезьянства ради. Встретятся, покричат и одно от этого душевное недоразумение.....

Не выдержал к лету Скворцов; голод взял, не то что плюшки, ржаного не сыщешь, пуще голода неопределенность безмерная. Даже „Русские Ведомости“ провалились. Жить зачем? Неприютно, скверно жить стало. „Вот и народ освобожденный“, думал он, — „Тунеядцы, живодееры, хамье. Мало их били и каким же дураком был я... Тоже. Свобода“. Думал словом, как многие, не только надзиратели классные, но и профессора мастиные, прежде даже слов этих бранных не знавшие. Разъярясь, хозяйке на растопку пачку брошюр выдал, но от этого легче не сделалось. Стал глядеть, как всегда, что другие придумают, а другие придумали бежать, и за

ними, не колеблясь, рысью сорвался Скворцов Григорий Васильевич, уж не надзирателем стал, бегуном.

Трудное это ремесло, кто сам не испытал, не поймет. Для почина ждал Скворцова на границе немецкой, что проходила, впрочем, как раз по середине России, в местечке Михайловском, где никому прежде и во сне граница не мерещилась, подзатыльник фельдфебеля германского, хороший подзатыльник, увесистый, чтобы не вылезал он из череда. Больно было, но как не согласиться, ведь от беспорядка убег, надо учителям, педелям чужезычным поклониться низко, затылок по-русски, рукой привычной, почесывая. Недолго спасался Скворцов в Киеве, подступили „живодеры“, кинулся в Одессу, там через Днестр на лодочке в Бессарабию и пошло круговращение, не жизнь, но одно сплошное „Вокруг Света“.

На что румыны несерьезный народ, гитаристый, и те вот презирали, гоняли по участкам, мыли, дезинфекцию устраивали, а кончив все процедуры, выставили и без всяких церемоний.

Год целый блуждал по Европе Скворцов, из комитета в комитет, гроши выклянчивая. Так и шарили по его душе всякие допросчики, благодетели осторожные, ничего своего внутри не осталось, все давно выложил. Еще промышлял он, чем мог: в Кишиневе об ужасной переправе через реку Днестр с тремя потоплениями за порцию телятины рассказал журналисту их, в Данциге набивал папиросы особые на русский вкус, в Берлине в кинематографе для специальной фильма комиссара зверя изображал и должен был для этого строить изверские рожи. Приходилось и окурочки на мостовой подбирать, в поле проходя (познал он землю наконец) морковью сырой не брезгать. Тихим был он учеником, все пинки принимал смиренно, „Варвары, труссы, азиаты,

разбойники, предатели"—покрикивали европейцы, со сладострастием перед его носом вертя жирным бифштексом и от великого человеколюбия кидая ему напоследок косточку, которую ни одна собака цивилизованная есть не станет. „Что же, их земля, порядок соблюли, могут над нами, шаромыжниками, измываться. Слова не скажешь в ответ“.

Попал наконец судьбами неисповедимыми Скворцов во Францию, и не в Париж прекрасный, а в маленький город Пуатье. Подумав и дивиться нечему, где же теперь не сидит хоть какой-нибудь злосчастный бегун. Чует сердце, и в Полинезии эмигрантский комитет обязательно существует. В Пуатье повезло Григорию Васильевичу, нанял его мосье Лор в кафэ свое „Рэжанс“ гарсоном, но поставил условием, чтобы сбрил он свою дикарскую бороду. Последний позор пережил Скворцов—с бородкой раесться, на положение бритого шалопа, безбородого мальчишки перейти. Была для него борода неким скипетром, гербом, знаком достоинства, родственной формой далеких, по свету рассеянных читателей „Русских Ведомостей“, и когда полетели под ножницами парикмахера Жюля жидкие серенькие клочья, понял он, что падает это русская земля, не та, что с „волей“, но настоящая, на которой стоял домик Плющихский, понял и под смешки Жюля горько расплакался.

Пуатье город тихий, чинный, и зря, без толку, в кафэ там никто не ходит. Только к пяти часам приходили в „Рэжанс“ завсегдатаи: владелец молочной, бухгалтер „Учетного Банка“, отставной полковник из колониальных, рентьеров пяток. Пили аперитивы, то-есть настойки хинные для улучшенного пищеварения, толковали о дочери Жюля—парикмахера, убежавшей с американским солдатом, о краже в поезде—(все Россия виновата, разбойников питомник)—о политике: какая Англия

хитрая, Германия злая, Россия непослушливая и все от чего-то французов, даже пуативницев, даже вот его, владельца молочной мосье Лево, обидеть нароят. Но пожаловавшись, и то не всерьез, скорее для некоторого размягчения, наслаждались вдоволь, ибо был горек и золот вермут, сине холеное небо, тиха и прекрасна жизнь в милом Пуатье. Порой играли в трик-трак, и побежденный раскошеливался на второй круг стаканов. А к вечеру снова „Рэжанс“ пустело — забредет разве приезжий коммивояжер, и наспех, просматривая адресный указатель, проглотит кружку пива.

Зато в воскресенье оживало кафэ, приводили за-всегдаи свои семьи, жен, напудренных не хуже парижского, так что Скворцову бедному они даже не женами казались, ребят гуртом, и малый какой-нибудь, всю торжественность понимая, в предчувствии времени, когда и он будет каждый день здесь за аперитивом взвешивать судьбы мира, медленно, сквозь соломинку, тянул красный сироп.

Мосье Лор завсегдаиам на нового гарсона указал—достопримечательность, раритет. И те с любопытством мирного дяди, рассматривающего бомбу, несколько дней подряд изучали Григория Васильевича. Потом высказались: мосье Лево осудил—хоть это с виду ничего, но вообще азиаты, почти татары, и хорошо бы хозяину теперь за кассой в оба смотреть. Бухгалтер в небеса залез—«мистики они—вот посмотрите, как этот гарсон на потолок смотрит, совсем Толстой, только все же напрасно их к нам пускают“. Полковник, разумеется, о предательстве вспомнил и Скворцова, несмотря на его возраст преклонный, коварно спросил: дрался ли с „бошами“ или немецкие серебрянники считал. Но Григорий Васильевич, привыкший за время странствий ко всяким укорам, совсем не обижался, в ответ он лишь

виновато и жалостливо улыбался. Как-то еще зашел в кафе гражданин Потра, местный коммунист, и обругал Скворцова лакеем царским, заговорщиком пузатым, банкиром (хоть был Скворцов худ до безобразия) и другими несуразностями, но и ему, смахнув со стола гроши чаевые, также тихо улыбался лакей, не царский, конечно, а только „рэжансовский“.

Не от этих насмешек невинных пошло несчастье Григория Васильевича, а от долгих досугов. Пока разносил он на подносе стопочки, рюмочки, кружки, или старался, шестью своими десятками пренебрегая, карьером промчаться на веранду, из кофейника на ходу выплескивая в воскресные семейные чашки кофе—все шло хорошо. Но в свободные часы, а немало их было с восьми утра до полуночи, начал Скворцов, себе и людям на горе, думать, тщился объять происшедшее, прикладывать ум, но ничего не получалось, или вернее получалось несообразное, глупое до анекдота. Пока шлялся он по всяким странам, не до выяснения первопричин было, а вот здесь, сидя в уголке с тряпкой, поджидая посетителей, дошел он до самых корней.

Получалось, что все виноваты, и никто не виноват, а главное был домик на Плющихе, и нет его, была у него страна—бегуном остался. Дойдя до этого, Скворцов точки не поставил, не замолк, не стал каяться иль плакаться, но почувал ненависть неодолимую вот к этим мирным, хорошим, покойным людям, которым не нужно ни до чего докапываться, сидят себе и пьют для аппетита.

„Для аппетита“—и вспомнились голодные города, ребята, вымаливающие корочку какую-нибудь, кожуру колбасную, хвост селечный. А вот этим хоть что, сидят и кости кидают, радуются... Разве жир прошибешь словом? Резать надо, вот что...

Так случилось невероятное: добродушный, трусливый старичок, помощник классного наставника, Григорий Васильевич Скворцов на шестьдесят первом году дошел до помыслов страшных, прямо уголовных. Не мог он вынести в муке чужой радости. Если б еще эти французы по нашему разгульно пили, били бы стаканы, пели, грозились ножами, целовались, каялись, мог бы понять это Скворцов, самому хотелось порой залпом из горлышка выхлестать бутылку, чтоб очуметь, заплясать, и прикончиться. Но не то происходило—радовались люди тихо, и ясно, как легкое светило, что плывет тысячи лет над этой блаженной, бесслезной землей, не смеялись раскатисто, но улыбались лишь, и не мог вынести Григорий Васильевич вечного, не стыдящегося, избыточного счастья. Мало-по-малу покорила его новая нелепая мысль: всему виною довольство красношеих, почтенных гостей, а особливо мосье Лево.

Были, ведь, у него когда-то комнатка беленая, самовар, „Барс“ мурлыка, чай попивая и он не о многом думал, если прогресс призывал, то скорее всего тоже для пищеварения, но об этом не вспоминал одержимый безумием Скворцов. От ненависти перешел он к подвигу—сразив толстенького Лево, он мир очистит, родину воскресит, вернутся бегуны на тихие Плющихи, гибелью молочника да его, Скворцова, тысячи тысяч спасутся.

Если б узнал мосье Лево об этих мыслях тайных, безусловно он рассмеялся бы—ну разве не азиаты? Не татары полоумные? И вправду, глупостей много повсюду думают, но нигде они до такой махровой святости не доходят; и убивать, убивают, но просто из ревности, что ли, или кошельком поживиться, а у нас не иначе, как мир спасая, не нож в живот, а крест подвижнический. Подозрительная страна—даже не страна, сплош-

ная палата, сторожа—и те заплясали почище больных. Если завтра земля сдвинется, вместо хлеба сколосится щетиной ежью, или перьями петушьими (ведь не простая она—откровений край, не по шоссе европейским, а по ее бездорожьям царь небесный шагал)—никто, кажется, не удивится, мосье Лево прочтет, улыбнется— в Татарии выдумали щетину сеять. Мистики.

Впрочем, мосье Лево о всех замыслах Скворцова ничего не ведал и двадцать четвертого мая пришел, как обычно, часам к пяти в „Рэжанс“, дружески кивнув Григорию Васильевичу.

„Ну, старина, как дела? Пикон с лимоном“. И в ожидании друзей, а также приятного ледяного питья, стал гладить слегка свои кругленькие коленки. Тогда, увидав этот жест предельного довольства, блаженный неизъяснимый жест, понял Григорий Васильевич, что час настал, вместо бутылки схватил он со стойки вилку десертную, подскочил к Лево, и напрягая старческие силы, воткнул ее в мягкую, расплзающуюся спину.

Завизжав ужасно, метнулся мосье Лево, подскочил, повалил на пол Скворцова. „Вяжите убийцу“. Прибежали полицейские, поволокли преступника на допрос.

Чего только не развели на следующий день все девятьсот французских газет—стал Скворцов большевиком знаменитым, германским наемником. Требовали, чтоб русских всех строго-на-строго проверяли, прощупав, перетряхнули—нет ли среди них еще коммунистов Скворцовского толка. Уверяли, что по глупости принял бандит мосье Лево за некоего министра. Словом, нагоняли строки. А в том же „Рэжансе“ и в тысячах других кафэ в час аперитива гам стоял, оживление необычайное—всех ограбленных поездов интереснее, жутко—уж не крадется ли за стойкой сообщник Скворцова—жутко и весело.

Оправился мосье Лево, гордо пришел в „Рэжанс“, как король вновь сел на возвращенный престол и у нового гарсона спросил невыпитый в памятный день пикон, улыбаясь жизни сохраненной, погоде хорошей, всем и всему.

Скворцова допрашивали, но мычал он невнятное. Решили—сумасшедшим прикидывается.

— Вы большевик?—спросил его председатель суда.

— Избави бог.

— Хотели ограбить?

— Что вы такое говорите, честный я человек.

— Так почему же вы хотели убить мосье Лево?

Но на этот главный, простой и страшный вопрос Скворцов ничего не мог ответить.

Он умел читать детям нотации, покупать папиросы, отвечать—„имя, фамилия, звание, местожительство“,—но говорить так, чтобы выложить душу,—он не знал, как это делается: не было у него в жизни ни женщины любимой, ни друзей закадычных, никого, один пробрел от приютских стен вот до этой скамьи подсудимых. А хотелось бы сказать много: что не большевик он вовсе, сам большевиков пуще огня боится, от них убег, бросил все, даже бороду сбрил, что очень любит он французов, вот в Москве читал Ирго учебник и умилялся—какой язык, не язык, а поэзия чистая—всех вообще любит, и мосье Лево тоже, но только должен его убить, ибо мука в нем, томление, снялся он с места, понесло, сил нет удержаться. Хотелось сказать еще, что не стерпит мир довольства аперитивочного, радости потирающих коленки, что вот он надзиратель, педель, и то бывший, бегун без отечества, срязит, любя, улыбающуюся голову в котелке. Хотелось, да не было сил, и три раза крикнув: „бегун я“, упал Скворцов на скамью.

Когда же председатель прочел приговор—каторжные работы, еще что-то,—долго читал, сложно, мало что понял Скворцов—он быстро вскочил, и одному котелку, тоже улыбкой ужасной просветленному, показал свой старческий, дряблый, трясучий кулачок. Его быстро вывели.

А на завтра, прочитав о том, что кровожадный злодей не только не раскаялся, но еще в помыслах низких упорствовал, мосье Лево сказал полковнику:

— Разве я не был прав? Азиаты. Хорошо, что мы с вами родились во Франции. Сегодня прекрасный вечер, хотите партию трик-трака?

Да, азиаты, опасные азиаты.

В РОЗОВОМ ДОМИКЕ

Чудной город Москва, вот уж действительно неправдоподобный город. Сколько статистики развели, переписи, учеты, анкеты, а чепушистости московской извести не сумели.

Возьмем к примеру Николо-Песковский переулочек: с виду все в порядке—подотдел совнархоза, советская амбулатория, курсы хорового пения пролеткультовские, а в домике бывшем тайного советника Всегубова, в розовом домике, самом обыкновенном,—нелепица, чудеса, дебри непроходимые.

Прислонился домик бывший Всегубова к совнархозскому, задумался, глазки-шторки опустил. В совнархозском сидит барышня и стучит на машинке, крепко стучит, изо-всех сил—ленты нет, вся продырявилась—прямо копию через переводную жарит: „Ком-ячейка приветствует революционное выступление рабочих Лидса. Долой лакеев Ллойд-Джоржа“. А во Всегубовском тоже барышня на плешивой софе читает папаше очередной номер „Московских Ведомостей“—„на обеде у предводителя дворянства присутствовали... Кто же присутствовал. Про себя подумаем: что за теософия такая, на небесах банкеты званые с пулярдкой а ля Рэн. Царствие им небесное... Это про себя, а папаше, то-есть генералу от инфантерии Модесту Никифоровичу Всегубову лишь улыбнемся вежливо—хороший обед, с подъемом“.

Так идет все изо-дня в день, и хватает же предводителей дворянства, пулярдок, желтеньких листков „Московских Ведомостей“ благоговейно хранимых дочкою генеральскою Евлалией, в печной трубе, на веревочке у вьюшки, чтобы не прочел об обедах кто-нибудь посторонний. В уголке над саксонскими болонками, над раковинами, над расписными вазочками висит портрет приятеля генеральского обер-фор-шнейдера графа Флауге—высоко парит человек, с великими князьями на „ты“, прямо без стеснений перед носом высочественным кодаком щелкает, займы на Тити из кордебалета ассигнации дает. По субботам Евлалия пишет письмо графу, под диктовку папаши, не без достоинства, но с горькой слезой стариковства, обиды покинутого— „помнишь, как мы с тобой после турецкой в Кюба девицу молдаванку, имя вот только запомнил, при большом стечении общества, раздели догола и усадили верхом на дресированного медведя? А как выкупали моську Крэкера в шампанском, а ему самому ягодички украсили гербами баронскими. Молодость! Теперь я стар, дряхл, болен, все друзья обо мне забыли. Молю тебя откликнись, не то потомство проклянет вероломников, презревших героя Хивы“. Но нет ответа на письма. „Занят человек, высоко парит, все на аудиенциях, послы, иностранные принцы“—утешает себя генерал. Да, важный был граф, одних хороших отличий, кроме Льва и Солнца какого-нибудь, не меньше двух дюжин, только прежде это... Царствие ему небесное...

Эти письма за предельные края, веселые празднества с мертвецами раститулованными объясняются просто, как, впрочем, и все человеческие тайны. В России была революция, но дикие валы, грозящие смыть все материки, покорно замерли у приступочка Всегубовского домика. В тесных комнатках ничего не произошло, кроме

того, что сдох пойнтер Наполеон, нажравшись на по-
мойке тухлой конины, а в столовой осыпался потолок—
давно не ремонтировали.

О том, что творится за порогом домика, в пучинах
Николо-Песковского, генерал не ведает, ибо опекаем
он нежно и беззаветно старой девой Евлалией, злую
революцию от него утаившей. Променяла Евлалия да-
лекую жизнь на этот сладкий плен старчества, пропах-
шего камфорой, нафталином, с ватой в ухе, с примоч-
ками, припарками, и шамканьем невпопад о былых
парадах. Послушаешь Всегубова, не поймешь, как жил
он, хотя покажет старик и послужной список, и орден
на выцветшей ленточке и лепточке—просто пышного
котильона. Путаются мысли, язык блудит, не то с хивин-
цами танцевал он шакон у генеральши Малменьшевой,
не то штыком заколол лакея Яшку, который склонив-
шись до полу, особенно нежно пришептывать умел:
„балычек такт-с“... Давно ведь все это было. Тринад-
цать лет уже прошло, как хватил генерала первый удар,
с тех пор он не ходит, ездит лишь в креслице, а пра-
вой рукой шевельнуть не может.

Была некогда у генерала и жена, но как-то он ее
незаметно обронил. Одни говорили, что сбежала с ци-
фиркой жалким—земским врачом, другие, напротив,
заверяли, будто генерал сам ее глупому земцу подки-
нул, ибо был в это время чрезвычайно занят полков-
ницей Володьевой и Хлюськой—певичкой, а на супругу
не хватало ни времени, ни денег. Как ни как, две дочки
оказались не у земца, а у генерала. Старшая Ольга
прямо из института кавалерственной дамы Четковой,
что на Пречистенке, после двух туров вальса, отпра-
вилась с штабс-капитаном Глазковым к попу, благосло-
вением пренебрегая, но мелочи всякие—простыньки и дес-
сертные ножички—через сестру вытребовав. Генерал

хотел проклясть, но позабыл, ибо очень был увлечен гувернанткой Евлалии—Тонэти из Авиньона. За то Евлалии он строго-на-строго запретил к кому-либо из мужского пола, кроме него—папаши, да глухого батюшки отца Спиридона, приближаться, уверив ее что от одного прикосновения чужого мужчины начнутся в душе ее страшные рези, а по телу пойдут синие пятна, величиной в грецкий орех. Должна была Евлалия за ним ходить, как за дитятей, покрывать грехи матери и сестры. Уж чуял он недобрый конец, только успел гувернантку свозить разок в „Мавританию“ и пока она кушала засахаренные ананасы, малость побаловаться, как пришлось сменить все эти невинные забавы на доктора Таубэ с банками, на неповоротливое кресло, да на всякие размышления.

Любил генерал, размышляя, беседовать о двух предметах предпочтительно—о победах своих неисчислимых над полом, ошибочно называемым слабым, ибо сильных одолевал герой Хивы, и еще о кознях пакостных многолапчатых массонов.

И чего только не узнала скромная девица Евлалия, заветов папаши не преступившая, даже доктора Таубэ, который лечил ее от хронического запора, не впуская к себе в комнату, знаниями в делах любовных удивила бы она любую дамочку парижских бульваров, которой фокусы и прибауточки Всегубовские были бы невдомек. Понатужится вечером генерал, откушав манной каши, да как гаркнет: „Сядь, Евлалия. Слушай отца. У гоф-фурьера Ивашина была полечка... дамские пальчики, карамелечки, безэ наивоздушнейшее, и в ажурях матинэ... по дружбе уступил он ее мне на вечер... у камелька на медвежьей шкуре...“ и пойдет, пойдет, а Евлалия, не сморгнув даже, слушает; обвыкла, стали ей и полечки эти, и ажур-амуры—вроде банок с бальзамами и притирками на полочке.

Но еще охотнее толкует генерал о судьбах Российской державы, разоблачая перед дочерью происки, подвохи, подкопы, подсиживанья хитрые проклятого иудейского племени, сиречь массонов. В молодости еще встретился он с одним бессарабским помещиком, у которого в услужении находился выкрест—Монька. От этого Моньки узнал помещик замыслы неугомонного жидовства, и генералу, тогда еще подполковнику, все до мельчайших деталей поведал.

Каждый год, в страстную пятницу, собираются главари жидовские со всех концов света. Раввин ихний, цадык пейсатый, он же первый массонский жрец, закалывает младенчика православного и дает всем крови пригубить. Кончив моление, вой да покачивание, жида делят меж собой мир; где акции скупить, где военные планы выкрасть, где бунты развести. Сидят они за границей, всюду в министерствах, в газетах, в штабах, да что за границей, у нас в России-матушке министр Витте не кто иной, как обрезанный...

На Витте обрываются воспоминания генерала. После идут одни смуты; о черте оседлости позабыв, пустили в Санкт-Петербург кагал жидовский, сидят там чесночники в ермолках, зонтиками грозятся, зовут себя депутатами и нет на Руси городского, чтобы тряхнув за шиворот легонько, выслать этапным в Бердичев на Белопольскую.

Хоть стар генерал, военный человек, финансами не занимался, но порой подмывает,—взять да послать государю императору „всеподданейшую“—сердце русское, корневое, исконное, кровью обливается, не беседовать же с массонами, запретить их просто, замести в уголок веником железным.

За такими беседами проходят дни Всегубова. Много было прежде до страшного семнадцатого года вот таких

розовеньких и голубеньких домиков, не в одном Николо-Песковском, но и в Мертвом, в Полуэктовом, в Штатном, в сотнях переулков и тупичков, где старички, хихикая, считали локоны, перевязанные ленточками, или ругали ожидовевших гласных, виноватых в том, что купчиху Квасову почистили среди беладня, и вообще жулье расплодили. Но пришла революция, полетели с подоконников фикусы и фуксии, жалобно зазвенели китайские болванчики, зарывкали издыхающие болонки, и стали резвые молодчики прибивать к почтенным воротам дикие надписи, от которых трепетали старенькие и подкашивались коленки: „Ревтрибунал“, „Профсоюз“, „Наробраз“. А мирные старички либо тихо померли, неслышно рассыпались от страха, горя и голода, либо побрели в далекие заграницы, но не в Монтэ-Карло поставить на номер сто десятин пахотной, не в Карлсбад сполоснуть раздосадованную кадетскими интригами печень, а просто в города и земли, жалостно побираясь среди чужих, сытых, злых разночинцев.

Но любовь сделала невозможное. Тщетно десятки тысяч людей плотиной живых тел, рядами безупречных французских пушечек хотели запрудить поток революции, а вот слабенькая, тощая девица оградила комнату своего папаша и в двадцатом году было еще в самой Москве место, где жил, царствовал, депутации принимал, самодержец всероссийский божьей милостью. Как прошли в феврале семнадцатого по Арбату первые бунтовщики с флагами, поняла Евлалия, что не выдержит сердце генеральское безмерного поругания. Скрыла от него все, а тихонько, в чуланчике молилась за царско-сельского узника, изнывая от тоски ни с кем неразделенной. Там за стенами „чернь“ бунтовалась, чванилась, горланила страшные песни, похожие на разбойные крики, а здесь рядом родной папаша, откушав

варењице, ругал проклятого Витте, потворщика массонского крота.

Гул уличный, гул толпы, песни, не стихавшие до утра, объяснила Евлалия победой над немцами. Генералу не очень это понравилось: и песни какие-то несоответствующие, и не немцев следовало бы расколотить, а англичан, у них верховная ложа массонов, всех пакостей питомник.

Много забот было у Евлалии: к окошку не подвозить, „дует, папаша, простудитесь“, за прислугой смотреть, чтоб не проболталась. От старости стал давно генерал рассеянным, глуховатым, смотреть—смотрел, но мало видел, и уж, конечно, ничего не подозревал, кроме старых жидовских происков—„зря народ по улицам шляется“—все грозил, что выведет полицеймейстера на чистую воду, через обер-гоф-шнейдера донесет августейшему монарху. Писала Евлалия об этом письма по субботам и тихонечко в сторону сморкалась.

Настали октябрьские дни. Евлалия знала, что не страх, а позор может остановить боевое сердце героя многих походов, и когда раздался с Девичьего первый залп по Александровскому училищу, сказала отцу: „Папаша, мужайтесь, немцы осаждают Москву. Но у государя лучшие дивизии и мы отбросим их“. Верный расчет, генерал не содрогнулся, весь день, под грохот рвущихся снарядов, вспоминал он былые годы, как вел он в штыки своих сибиряков, и уснул мурлыча: „Сильный, державный, царствуй на славу нам.....“ А на софе беззвучно плакала Евлалия—все гибло, и держава, и розовый домик, и две человеческих судьбы.

Еще томилась Евлалия, зная, что в Кремле, отражая атаки „разбойников“, на смерть дерется ее племянник, Ольгин сын, молодой гвардейский поручик, Петя Глазков.

Наконец пушки стихли, и, пряча платком густо заплаканное лицо—„зубы болят“—Евлалия сообщила папаше радостную весть—немцы отогнаны. Хотел старик по-Всегубовски львино рывкнуть „ура“, но сил не хватило, только прошамкал что-то.

Приходили какие-то горлодеры, оружия искать; „у вас“—говорили,—„пулемет в перине пристроен“. Умолила их Евлалия больного старичка пощадить. Сжалились. Только заглянули в комнатку, да один, юркий, быстро слазил под софу. Шепнула Евлалия папаше, что вор у дворничихи Пелагеи утку стянул, вот ищут его, не пролез ли в окошко. „Жиды. Мазурики“, бурчал старик, а на солдат умилился: „молодцы, а ну-ка сцапайте бунтаря и за форточку“.

С каждым месяцем становилось все горше. Хитрей дипломатов изворачивалась Евлалия. Приметили домик какие-то бритые прохвосты. Уж одно имя—„летучая труппа“—чего стоит, скорей всего думала Евлалия, карманники они. Пришлось генералу с дочкой перебраться в мезонин: „сыро внизу, вот и ноет нога ваша“ (не штатская хворь, шампанские сифончики—ранение хивинское). Уверял генерал, что рана вовсе не слышится, а наверху пакостно, и от крысиного духа душу мутит, но твердой рукой покатила Евлалия креслице. А к бритым пошла, чтобы сердце смягчить воровское, на подушки положила бабушкины накидочки крахмальные с прошивками, и сочла за долг, гордостью родовой пренебрегая, в общение войти:

„Папаша у меня с детства революционер, из платка флаг красный себе сделал, все сидит и машет—дай бог им светлого преуспевания. Жаль, не могу свести вас к нему, радостью поделиться, очень болен он и от посторонних лиц впадает в ярость неслыханную, вроде падучей, все жандармы проклятые чудятся“. А генерал

подждал наверху: „Евлалия, почитай-ка мне „Московские Ведомости“, и, плотно прикрыв двери, вынимала Евлалия старенький рыжий листок, мерно, покойно, будто псалтырь над покойником, читала: „высочайшим рескриптом назначается...“ пока засыпал папаша. Все время на ноже ходила, к осени восемнадцатого съехали, „воришки—видите ли, печки в неисправности,—рабочих найти нельзя“, другой дом почище облюбовали. Прошла сырость, утишилась рана, спустились и генерал с дочкой вниз, к веселым мандаринам (одного, что язычком помахивал, разбойники не то разбили на радостях, не то стибрили просто).

Зато подступили другие испытания, давно ушли уж последние рубли серебряные, отложенные на черный день Евлалией. За ними поплелась—браслетик гранатовый, серебро закусочное, массивные подстаканники и многие другие. Повязавшись платочком, бежала Евлалия на Смоленский рынок со скатеркой или со старыми штанами генеральскими, стеганными, на пуху верблюжем. Ругали ее бабы, мальчишки измывались, пихали, цапали, все выносила и генералу несла под полую рваной шубки булочку за целую тысячу, замерзшую, крепкую, как камень, вкусную (ох, как самой куснуть хотелось), но на суд строгий и несправедливый. Ворчал генерал „и где только такую пакость пекут, послала бы ты Пелагею к Филиппову, там за пяточок горяченькие, румяньенькие, не чета этой мозоли кобыльей“. Крохи подобрав, слизнув у окошка, думала Евлалия о страшной, непонятной жизни. За что такое испытание? Были—городовой на углу Афанасьевского, в башлычке, добренький, шоколад Эйнемовский „Золотой ярлык“, порядок на улице, магазины в пассаже, было же, а теперь вот эти крохи, стоянки на рынке, где какой-нибудь шивый харкун по скатерти с метками фамильными

лапищами пройдет, облает, облапит еще, вечера в не-топленной комнатке, звонки смертельные, записи, выписки, книжки трудовые. Прежде в институте Евлалия вздыхала о гусаре, о сумце голубом, о букетах от Ноева с лентами,— всю жизнь шептаться бы на веранде дачи, о чем-то очень приятном, красивом. И вот иди, пили в морозных сенях дрова, на последнюю нижнюю юбку выменянные. Долго глядела она на руки заскорузлые, покрывшиеся трещинами наподобие слоновой шкуры, от мытья простынь, золы печной и упрямой пилы. Некому ей пожаловаться, не у кого спросить, за что такая мука, придет ли скоро конец, все равно какой— генерал казачий с городовыми, с шоколадом, с таким „разойдись“, что, увидав Евлалию, бабы Смоленские задом бы пятились, или смерть избавительная, три аршина на Ваганьковском.

Потом совсем плохо стало. Мороз в комнатке, четвертка хлеба паечного, усатого, не проглотить—зацепишься, мокрого, тяжкого, как ком могильной земли. „Потерпите, папаша“,—молила Евлалия, „скоро Таубэ отменит диету“, печи разрешит топить. Если вас сейчас перевести в натопленную комнату— снова удар. И есть ничего нельзя, кроме пшена на воде и вот этого хлеба, специально для болезни вашей в лаборатории пекут, лекарственный хлеб, невкусный, правда, но помогает очень“. „Странная диета, болезнь странная, говорю“,— стонал генерал и дрожал дрожью крупной, завернувшись с головою в одеяло. Раз не выдержал, ночью позвал дочку: „Евлалия, деточка, ангел мой, ну немножко хлебца беленького. Все равно— пусть потом хоть удар, смерть, ничего. Сил нет, так внутри все прыгает, жалуется. Пожалей отца, обойди рецепт, дай разок откусить и затопи же. С легкой душой отойду...“ Так просил все и плакал, будто дитя малое, и, муки не вы-

держав, плакала с ним Евлалия, силы собирая, чтобы, глядя папашу по бедной трогательной лысине, шептать: „нельзя, ей-ей“.

Весной двадцатого года, в апреле, не-то пятого, не-то восьмого, как будто вечером, может за полночь (сбилась Евлалия от всех штук анафемских: календарь, часы с ума сошли—рождество Христово в январе месяце, солнышко садится в первом часу пополуночи—время перестала различать), услышав звонок торопливый, задрожала девица—уж не ночь ли, не чекисты ли, о „Ведомостях“ пронюхавшие, а может, милостив господь, день еще, пришли из орды ханской за штанами, кои должна генеральская дочь шить палачам, ослушникам, Троцким маленьким со звездой Давида из Талмуда.

Но радость поздняя за долгие годы ждала Евлалию. Племянник, герой непримиримый, крестоносец Петенька. Исхудал до чего, заострился, на ботинках рваных не штрипки залихватские, лоскуточки брюк переносенных, но душой прежним остался, ни на полвершка не отступил перед наглецами, перед захватчиками. Крадучись, пришел к тетушке—спрятать его нужно, охотятся звездастые, принохиваются, ну да, ничего, он замел следы. Не гвардейцу герою на Смоленский бегать, у окошка кондитерские вспоминать—высокими делами он занят, законному престолонаследнику престол возвращает. Семеновец ли потерпит, чтобы вместо орлов—суворовских, скобелевских—торчала бы со стен обнаженных борода, сальная борода лапсердачника Маркса, застилая всю робостную Русь. Чтоб во дворцах императорских стриженные жидовочки пащенков сопливых холили, будто великих князей. Чтоб вместо мазурок громоносных, кантов, орденов, ведерок с замороженным, Стеш-хористок, пошла бы коммуна голопятая, воблистая, скушная, такая скушная, что если не верить,— вот,

вот, конец, давно бы бух в Неву. Но дело на лад идет. В полках верные людишки, на стороне „тройки“ отчаянные, под Курском мост подорвали, в Елецком уезде мужиков подняли новоявленной богородицей, коя кровь из груди изливает и дьячка молила: „рану исцели, изгони из Кремля внучат иудовых“. На юге генерал Врангель, Петр Николаевич, через Днепр направился, на Алешки метит. Скоро, скоро конец, Только не подлезли бы оборотни двухмордые, кадеты с „Думами“, профессора из ума выжившие со „свободами“ чумными, не для того кровь дворянская льется, чтобы депутатик в пенснэ, суточные пропив, требовал бы к ответу министра. „А почему у вас делается нечто мне неизвестное“. И нос спрячет в футляр вместе с пенснэ, форточку открыть побоится, как проскачет гвардия на парад через Спасские ворота.

Поняла Евлалия, что это и есть жданный избавитель, Георгий победоносец, и, не смея слова глупого сказать, только ясная, счастливая поцеловала его руку, прежде славную во всем Петербурге, гордость маникюриши м-ме Вилет, а теперь огрубевшую и грязью окаймленную.

Не понял генерал костюма внука: „Оболтус, лоботряс, так-то ты служишь. За деревенскими девками небось лазил. Струхнул. Перекрасился. Отвечай, бабий хвост, в каком чине“.

„Лейб-гвардии Семеновского полка поручик. В отпуску, баловался по молодости, о снисхождении прошу“. „То-то же“. И задремал генерал, а Петенька жадно проглотив кашу Евлалии—что ей каша, она радости высшей преисполнена—тоже в чуланчике лег спать, под голову подложив тетушкину шубу. И от запаха семейственного, мышей, лекарств, меха, лежалой всячины, снились ему приятные сны, будто он маленький, ни о чинах, ни о балах, ни о подвиге ничего не знает,

а играет с маменькой и прячется в передней, стащив из буфетной горсть шепталы сладкой, за лисью ротонду прячется, отыскала маменька, щекочет, а сама в рот кладет—только глазки закрой—что-то очень вкусное, вкусней шепталы—шоколад с ананасом внутри. Господи, хорошо как...

А Евлалия не спала, но перед иконой молилась о даровании победы. Вот, вот полетят все мосты, подымутся все мужички, не те, что на Смоленском, грубианы дрянные, а честные, хорошие, послушливые, бритых актеров, счетчиков, солдат охальных, прогонят и поедет в карете его императорское, а за ним на коне белом, нет в яблоках, в яблоках всего красивее, Петенька гордый, но, выше гордости, добрый, улыбочивый. „Матерь божья, помоги“.

Еще звонок. Боже, кто же это? Штатский, отвратный, хоть и не китаец, но почти, военные с винтовками, с револьверами. Не послушали криков Евлалии, прямо прошли в комнату генеральскую, криком, топотом, звяканьем, разбудили старика: „Не у вас ли находится Петр Глазков, обвиняемый в устройстве заговора для ниспровержения существующего строя“. Хоть сонный, сразу сообразил генерал—вот почему внук его в костюме маскарадном явился: „Петька. Крамольник. Изменник. Присягу нарушил. Держите его—вот он, в чуланчике укрылся злодей. Проклинаю смутьяна мерзкого“. Быстро, быстро, подмахнув бумажку, ушли люди, и Петю с собой увели.

Не вытерпела Евлалия, все позабывши закричала: „Папаша, папаша, что вы наделали? Ведь давно у нас царя нет, третий год уж эти негодяи владычат, против них восстал Петенька, убьют его теперь, замучают“.— „Врешь“, гневно ответил генерал, „сама заразилась тлетворностью. Жив самодержец всея Руси, не вам его

спихнуть, нигилистам низким. Пусть повесят Петьку, псу смерть песья. Чужал я, что у Ольги такой изверг вырастет, трясогузка, с фертиками нюхалась, без благословения под венец пошла. У, массоны, и когда же вам крышка будет. Не хочу слышать о нем, слово скажи—тебя прокляну. Садись, читай газету, забытья от мальчишки, пакостника“.

И снова подняла Евлалия крест, на минуту выпавший из ослабевших рук, но стал он по новому тяжек. Видала она Петеньку, лежащего у стены, фуражка рядом, на виске милом, повыше оспинки (ветряной, еще в корпусе болел), кровь, родная, Всегубовская.

„Государь император успокоил представителей курского дворянства подтвердив, что никаких уступок мятежным кругам сделано не будет“. Поддакивал генерал, „правильно, никаких поблажек, в тюрьму масонов. Петьке, змее гнусной, веревку, да мылом, мылом се... Тяни потуже“...

Больше ни на что не надеется Евлалия, спасения не ждет, и ночь о муках своих не пытается. Даже молиться и плакать перестала. Ходит на рынок, читает газету, пишет письма обер-гоф-шнейдеру. Тихо, очень тихо в розовом домике.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Веселый финиш	5
Бубновый Валет	17
Бегун	31
В Розовом Домике	47

ИЗ ТАЙНИКОВ



МНЕМОЗИНЫ

Илья Эренбург

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ и КОМПАНИЯ

Репринтное воспроизведение издания 1924 года



book chamber
international

Ответственный за выпуск:

М. Аристова

Подписано в печать 6.03.90. Формат издания 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 5,04. Уч.-изд. л. 2,636. Тираж 200 000 экз. Заказ 581. Цена 2 р.

Совместное предприятие «Бук чембэр интернэшнл»
119034, Москва, Остоженка, дом 2

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ИБ-2

Э 4702010201—002
944(01)—90

Без объявл.

ISBN 5-85020-002-9

Р. ТАГОР. Залетные птицы. Перев Т. Л. Щепкиной-Куперник	—	"	75	"
Я. ВАССЕРМАН. Уши господина маркиза. Роман.	—	"	—	"
" Человечек с гусями. Роман. Пер. И. Б. Мандельштама	—	"	—	"
Эрнест ПУЛ. Фашистка. Роман Пер. под. ред. В. А. Азова	—	"	—	"
А. БАРЕЮС. Сердце человеческое. Роман.	—	"	—	"
Фр. ХОЛЛЕР. Безумный в эту ночь. Роман.	—	"	—	"
Фр. ЮНГ. Завоевание машин.	—	"	—	"
Кн. ГАМСУН Женщины у колодца. Роман. Пер. Э. К. Пименовой	1	"	75	"
" Последняя глава. Роман. Пер. Э. Л. Вейнбаум	—	"	—	"
А. АДЭС и А. ИОСИПОВИЧИ. Книга о Гохе-дураке. Египетский роман. Пер. А. Поляк	1	"	75	"
М. ГАЛЬВЕЦ. Наха. Роман. Пер. А. Я. Острогорской	1	"	—	"
Г. ГЕРМАН. Кубинке. Роман. Пер. М. М. Гутмана	1	"	50	"
" Снег. Роман. Пер. И. Е. Хародчинской	1	"	25	"
" Барышня Геберт. Роман.	—	"	—	"
Б. КЕЛЛЕРМАН. Страна хризантем. Пер. Э. К. Пименовой	1	"	20	"
Л. ФРАНК. Человек добр. Пер. Г. И. Гордона	—	"	40	"
П. АЛЬТЕНБЕРГ. Сумерки жизни. Пер. И. Е. Хародчинской	—	"	—	"
Г. ЗУДЕРМАН. Моя юность. Пер. Г. И. Гордона	1	"	20	"
Жюль РОМЕН. Души толпы.	—	"	60	к.
А. ШНИЦЛЕР. Маски и чудеса. Пер. Зин Львовского	—	"	75	"
К. ФИБИХ. Свиное гнездо. Роман. Пер. А. Я. Острогорской	1	"	25	"
БОНЗЕЛЬС. Дураки и герои. Пер. Г. И. Гордона	—	"	—	"
А. МОУА. Ариэль. Роман из жизни Шелли и Байрона. Пер. Д. А. Левина	—	"	—	"
Д. КОНРАД. Тайный агент. Пер. под ред. В. А. Азова	—	"	—	"
Жак де-ЛАКРЕТЕЛЛЬ. Еврей (Зильберман). Роман. Пер. П. К. Губера	—	"	50	"
Д. ШАТОБРИАН Власть земли. Роман. Пер. Д. А. Левина	1	"	50	"
П. БУРЖЕ. Тюрма. Роман. Пер. И. Б. Мандельштама	—	"	85	"
Э. БЮРНЭ. Вдали от России. Роман из эмигрантской жизни. Пер. П. К. Губера	1	"	—	"
Ромэн РОЛЛАН. Махатма Ганди. Авторизованный перевод Н. Берберовой	—	"	60	"
Кл. ФОРЕР. Душа Востока	—	"	—	"
В. ЛАРБО-БАРНАБУС. Дневник миллиардера Перевод П. К. Губера.	—	"	—	"
Л. ПЕРУЦ. Мастер страшного суда. Роман. Пер. И. Б. Мандельштама.	—	"	—	"
М. НЕКСЕ. Навстречу молодому дню. Ром. Пер. Е. Бак	—	"	—	"
Поль МОРАН. Хищники. Пер. О. А. Овсянниковой	—	"	—	"
Пьер ДОМИНИК. Храм мудрости. Ром. Пер. Е. П. Жуковской	—	"	—	"
Ж. КЕССЕЛЬ. В воздухе Роман. Пер. Г. И. Гордона	—	"	—	"
Ф. ДЮШЕН. Под медленный шаг караванов. Роман. Пер. О. А. Овсянниковой	—	"	—	"
Х. БЯЛИК. Рассказы Авторизованный перевод Д. И. Выгодского	1	"	20	"
Ф. ЭЛЕНС. Басс-Бассина-Булу. Негритянский роман. Пер. под ред. Ильи Эренбурга	—	"	—	"





СКЛАД ИЗДАНИЯ:

В ЛЕНИНГРАДЕ: Просп. Володарского
(б. Литейн.), 51. Тел. 561-46 и 224-30.

В МОСКВЕ: Петровка 7, книжн. магазин
„Маяк“. Тел. 148-92 и 44-74.